

Федор ЕРМОШИН

Универность

ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИИ
РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ

Главное здание МГУ – постройка высокая. В дождливую погоду не видно шпиля, на него наплзают облака, усаживаются низко, будто набросали подушек, заволокли периной тумана странные астрологические часы на одной башне и обычные часы на другой. Так, что если опаздываешь, то и не узнаешь, насколько.

Само здание, построенное ээками, – обитель мудрецов, как у Платона в идеальном государстве. Вы оказались в резервации: ходите, думайте, оправдывайте существование своей касты. Для удобства вот вам столовая, бассейн, библиотека, – словом, инфраструктура, только занимайтесь наукой. Мы вам позволили жить в прекрасных условиях, теперь и вы оправдайте наши надежды. Все рассчитано на то, чтобы думающие из этих стен уже не вышли. Каждый работает в своем секторе.

И как мы, думающие, довольны! Мы полагаем, что вытянули счастливый билет. Я всегда этого молча стеснялся: ведь плебейство – думать, что интеллигент – это всего лишь человек с чистыми манжетами. Он может рубить собственный книжный шкаф на дрова.

На днях я не решился зайти в громадную новую библиотеку МГУ, хотя было довольно холодно и погреться в помещении не помешало бы.

Потом вошел все-таки – с охранником. Он проводил меня оформить читательский билет. Я вслух удивился масштабам сооружения.

– Да, у нас сейчас так. Вливания. А что? Хорошо. Если у тебя ум смекалится, – он говорит теплым голосом, гулко шагая, и с усмешкой смотрит на меня, – и тупой зад, то можно сегодня ого-го как пойти, и денежки будут!

Я киваю, желая сбежать, чтобы потом опять вернуться и выполнить норму.

Моя двойственность – в этом неприятии «университетского» и прислуживании ему. Мое двоеничество, неуспеваемость и, как следствие, постоянные попытки притворяться.

Я всегда отгораживался от Него. Университет был для меня диктатором, внешним миром, изображающим крылатые порывы научной мысли, но с глазами мудрыми и холодными, как у змеи. Он грозил своей архитектурой, а я с Ним сражался. Все мне в нем казалось тупиком, а не перспективой: игра в академизм, ученая мантия, звякающая подкладкой с зашитыми в ней деньгами, студенческие песенки...

Каждому свое. Есть чиновники, есть ученые, есть рабочие. Я – ни тот, ни другой, ни третий. И, возможно, поэтому такой чужой всем.

Мне просто хотелось быть образцовым учеником, чтобы не расстраивать близких.

Я судорожно писал на ладонях признаки славянских языков, но на языке у меня нужного признака не было, и старания шли прахом. Я тер грязными руками лоб, оставляя на нем чернильные разводы, силясь припомнить, как называется явление. И получал незачет автоматом.

И вот я, кажется, постиг, что такое физиономия университетского человека – того, кем я должен стать, чтобы не выделяться, выгодно вписаться, как шкаф в интерьер.

Физиономия эта должна быть недовольной, или величественно-твердой, или – в крайнем случае – ироничной. Если я гуманитарий – моя наука сложна, и на вопрос, в чем она состоит, не сразу ответишь, но я ведь ученый, и поэтому первой защитой от любых претензий будет то, что я ничему не удивляюсь, и все, что мне встретится, стану описывать торжественно и безразлично.

Болезнь «ученого» (все равно что – «мореного», «моченого») – в том, что я не могу до конца полюбить то, на что смотрю. Каждое чувство я обязан прежде завернуть в наукословную обертку. Дробить объект на сегменты, бить ему по рукам. Отказываться от неподходящего, выискивать подходящее, как мясник выискивает в туше коровы лакомую вырезку.

Но чем больше я умерщвляю, тем больше уверен, что это единственный путь постижения мира, ведь каждую эмоцию, как сигарету, я тушу о пепельницу собственной души. Любой дурной поступок можно объяснить научно, проанализировать – и постфактум оправдать. Так маска научного равнодушия становится лицом.

Неужели никто не чувствует, что мы, думающие, – продавцы воздуха? Неужели никому не стыдно?

Ленивый изгиб губ. Сдвинутые брови. Соблазн формы, заседания, таинственного слова, который рано или поздно схватывает душу университетского человека.

В это играют даже самые талантливые. Только у них – тончайшие, как бабочкины крылья, ухищрения ума. И чем смелей ты вначале, тем разумней, оmozговленней, когда заматерел.

Набоков – типичный университетский человек. Гуманитарий, разъявший все гуманное. Остроумный коллекционер мертвых бабочек. Пришпилить летучую метафору, прибрать к ногтю все живое, что есть на свете, думая, что ты хозяин гербариев смысла, а смысл, сухой, измельченный, осыпается, на глазах обращается в труху.

Может быть, вам знакома эта боязнь идти до конца, которая сидит в университетских людях? Они хорошо знают свой предел и могут наукообразно говорить о комплексах, об идеях, о гендерном и патологическом, а всерьез пугаются, делают квадратные глаза или проявят вдруг такую дикость жеста, поступка, убеждений, что лучше не знать сих страшных снов.

Мне возразят: но ведь они, так или иначе, – лучшие умы. Хуже, когда у людей просто рыбы лица. В автобусах, например. К тому же волнует это от силы двух с половиной человек. И если я клянусь альму матер, я клянусь и подрываю самого себя и горстку таких же, как я.

Сейчас, да и всегда, нет трибуны, нет единого микрофона, в который нужно вещать истину. Раньше, говорят мне, филолог был нужен, чтобы выработать концепты на национальный флаг. Быть болтуном, спичрайтером было участием завидной, пользовавшейся автоматическим спросом, и для многих это повод для ностальгии...

Но ведь блестящий разум (рацио) – это еще не дух.

И может быть – страшно сказать! – надменная гордыня университетских людей не от фаустовской ли дерзости идет? Просто они давно поняли, что владеют скрытой силой раздачи благ, кнопкой сакрального знания, к которой можно допустить или не допустить. Не надо тут искать метафизики: не от тайн разума гордецы, а от кошелька, прочитавшие список книг, но знающие, что есть кормушка. Как только дорвались до нее – зачем менять позу?

Я видел на филфаке нескольких «живых» людей. И всегда вид у них был какой-то катакомбный. Всегда они на грани выживания, на обочине, будто и живут втихаря. И это – то, чем для меня является подлинный Университет: всегда – не метод, но – личный пример учителя. Как внеучен мир у великих гуманитариев, насколько свободен от «сообщества ученых»! Объект в их руках оживает, трепещет под взглядом, конгениальным тому, на что он направлен. А потом их именами будут потрясать все те же холодноглазые...

Мне трудно говорить то, что я говорю.

Сейчас я представляю в уме знакомые лица, и все они мне глубоко симпатичны, все интересны. (Пусть спорят, пусть бьются из-за буквы, играют в игры. Есть ведь и другое: когда с первой минуты ты узнаешь своего. Они же учили тебя!)

Но в душе чувство унижения: что же вы сделали? Или чего, точнее, не сделали? Когда успели проявить очередное безволие или, наоборот – очередную прыть, отдав Университет с потрохами? Ведь бездарность, заселившаяся в него, может оказаться в большинстве. Кто, как не образованные и высокочисленные, превратил его в то, что он есть сейчас, как бы показав тщетность всех научных потуг в эпоху спроса и предложения на знания?

Выпускники работают в глянцевых изданиях – шьют новые флаги. Впрочем, это факт их личной биографии. Мой друг наблюдал, как некий «бык»-студент в шутку сыпал десятирублевые бумажки на первый этаж, в лестничный пролет. Это чужие десятки. Но они имеют ко мне самое непосредственное отношение.

В лифте едет профессор со слуховым аппаратом. Рядом слышна речь, хрюкающая матерщиной...

Интеллигентное молодое лицо кажется здесь уже каким-то странным растением, перекаати-полем, занесенным сюда удивительным ветром издалека, – эти скромные и худые мальчики и девочки ходят по чужой территории, которую населили и освоили уже совсем другие. Другие.

И впервые понимаешь: ведь это и мой Университет. На границе с полной потерей и размыванием наконец приходит осознание, чем является он для меня.

Не может быть в нем того, что лучше мира. Он тоже подлаживается под социальную среду. Он волей-неволей выбирает людей из мира и становится ими.

Мне и самому кажется в грустную минуту, что если основная масса живет звериным обычаем, то интеллигентность – экзотика, изысканная веточка салата на бутерброде нашего общества, редкостная приправа, не более того.

Так что же: значит – уйти?

Но без нас гора исторических свидетельств окажется грудой разрозненных черепков. Наше дело – расчистка механизмов, которые заставляют сдержаться и не нахамить, не убить при первом же импульсе гнева, а ведь это то, чему учатся в том числе на книгах; это то, что нелегко, но человеческая жизнь, в принципе, невозможна без этого каждодневного усилия.

У воспитания должны быть острова. Чтобы что-то склеивало людей, как слюна клестов склеивает из веток гнезда.

Университет еще существует – не для того, чтобы быть местом для богомного ля-ля или курения, а – странным, юродивым оплотом культуры. Он, как и церковь, есть по-своему нечто служебное – и не должен превращаться в самокумира, в идолище кафедры.

У каждого должен быть в голове свой идеальный Университет. Не лобное место, а спасение и подспорье, чтобы не распасться на атомы я-бытового, я-болтуна, я-столующегося на втором этаже человека. Сблизиться с Университетом по-настоящему – это вспомнить про дроги, на которых, грызя соленую корюшку, засыпая на вонючей рогоже, ехал сюда Ломоносов.

Надо быть живыми! На то нас и воспитали те искренне нами любимые, о которых мы сразу вспоминаем при этом универсальном, обнимающем слове!

Так Университет становится навязчивой мыслью о духовном неодиночестве, мечтой о культурной телепатии.

Так, быть может, проявляется лишь один из симптомов, типичных для бывшего его студента, – симптомов универной болезни на поздней стадии.